

*“Что происходит?..
Все против всех...
А может быть,
и хуже того:
не все против всех,
а никому ни до кого
дела нет”.*

З. Гиппиус

Зинаида Гиппиус

ВСЕ ПРОТИВ ВСЕХ

РОССИЯ ПЕРИОДА УПАДКА



Зинаида Николаевна Гиппиус

Все против всех.

Россия периода упадка

Серия «Кто мы? (Алгоритм)»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69289600

*Все против всех. Россия периода упадка / Гиппиус З.Н.: Родина; Москва;
2023*

ISBN 978-5-00180-982-1

Аннотация

«Разложение у нас существует не там, где его многие ошибочно и с ужасом обнаруживают, – писала Зинаида Гиппиус. – Оно не в народе, но среди тех, кто отделил себя от него, отделил себя от его живой души».

Русская писательница, публицист, поэтесса и литературный критик, З.Н. Гиппиус была одной из видных представительниц «Серебряного века». Вместе со своим мужем Д.С. Мережковским она считается идеологом русского символизма.

Не ограничиваясь литературой, Зинаида Гиппиус активно участвовала в общественной жизни России. Ей были глубоко чужды самодержавные методы правления, кем бы они ни применялись. «Крик: «Всё позволено» – не идет ли он от самодержавия, которое слишком долго и упрямо утверждало –

ужасную догму: «Всё позволено... одному». Эта догма должна была породить в едва пробудившихся душах противоположное ощущение: «Если он, один, человек, мы все тоже люди, и если ему дозволено всё, нам тоже всё позволено, всё всем позволено», — отмечала Гиппиус. Отсюда, по ее мнению, происходила страшная болезнь разложения общества, когда все начинали выступать против всех, «или хуже того: не все против всех, а никому ни до кого дела нет».

В книге представлены лучшие статьи З.Н. Гиппиус, посвященные общественной жизни и литературе России.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Содержание

Автобиография	6
В дни распада	13
Я? Не я?	13
Мы и они	18
Наше мессианство	29
В дни распада	31
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Зинаида Гиппиус
Все против всех.
Россия периода упадка

ИЗДАТЕЛЬСТВО

РОДИНА

© ООО «Издательство Родина», 2023

Автобиография

Семья Гиппиус ведет свое начало от Адольфуса фон Гингста, переименовавшего фамилию Гингст на фон Гиппиус и переселившегося в Россию (в Москву) в XVI, кажется, веке из Мекленбурга. Несмотря на такое долгое пребывание в России, фамилия эта до сих пор в большинстве своем – немецкая; браки с русскими не давали прочных ветвей.

Мой дед, Карл-Роман фон Гиппиус, был женат на москвичке Аристовой, русской. Первый сын их, Николай Романович, был моим отцом. Он очень рано окончил Московский университет и затем прожил, ввиду начавшегося туберкулеза, около двух лет в Швейцарии. Вернувшись, сделался «кандидатом на судебные должности» в Туле. В тот же год он познакомился с моей матерью, молодые братья которой тоже служили в Туле по судебному ведомству.

Дедушка мой по матери, В. Степанов, в то время уже умер; он был полицеймейстером в Екатеринбурге. Сам необразованный, он, однако, послал обоих сыновей в Казанский университет. После его смерти вдова с дочерьми переехала в Тулу, к сыновьям.

Бабушка с материнской стороны всю жизнь потом прожила с нами. В противоположность другой моей – московской – бабушке, Аристовой, которая писала только по-французски и не позволяла звать себя иначе, как *grand' maman*, эта до

смерти ходила в платочке, не умела читать и даже никогда с нами не обедала.

В январе 1869 года мой отец женился и уехал в Белев Тульской губернии, где получил место. Я родилась в Белеве, в конце того же 1869 г., 8 ноября, а через шесть недель отца опять перевели в Тулу, товарищем прокурора, и меня тетка везла всю дорогу, на руках, в возке.

С этих пор и начались наши постоянные переезды: из Тулы в Саратов, из Саратова в Харьков, причем каждый раз в промежутке мы бывали и в Петербурге, и в Москве, где подолгу гостили.

Я росла одна. Все с той же, вечной нянькой, Дарьей Павловной, а потом с бесчисленными гувернантками, которые со мною мало уживались.

В 1877–1878 гг. моего отца перевели в Петербург товарищем обер-прокурора Сената. Но мы прожили там недолго: туберкулез отца сразу обострился, и спешно был устроен его перевод опять на юг, в крошечный городок Черниговской губернии Нежин, на место председателя суда. Меня отдали было в киевский институт, но через полгода взяли назад, так как я была очень мала, страшно скучала и все время проводила в лазарете, где не знали, как меня лечить: я ничем не страдала, кроме повышенной температуры.

В Нежине не было тогда женской гимназии, и ко мне ходили учителя из Гоголевского лицея.

Через три года отец мой, все время прихварывающий,

сильно простудился и умер (9 марта 1881 г.) от острого туберкулеза. Умер молодым – ему не было еще 35 лет. После него осталось довольно много литературного материала (он писал для себя, никогда не печатал). Писал стихи, переводил Ленау и Байрона, перевел, между прочим, всего «Каина».

После смерти отца мать моя с детьми (в то время у меня было уже три совсем маленьких сестры) решила окончательно переселиться на житье в Москву. Средства оказались небольшие, а семья порядочная: с нами жила еще бабушка и незамужняя тетка, сестра моей матери.

Но и в Москве мы не прожили более трех лет: моя болезнь, в которой подозревали начало наследственного туберкулеза и благодаря которой я должна была оставить классическую гимназию Фишер (мать почему-то отдала меня туда, и гимназия мне нравилась), – эта болезнь заставила нас сначала переселиться в Ялту, а затем в Тифлис.

В Ялте мы прожили год, на уединенной даче А. Н. Драшусова, по дороге в Учан-Су. Там у меня были только книги, занятия с сестрами да бесконечные писания – писем, дневников, стихов... Стихи я писала всякие, но шуточные читала, а серьезные прятала или уничтожала.

Еще при жизни отца я хорошо знала Гоголя и Тургенева. В Москве, особенно за последний год, перечитала всю русскую литературу и особенно пристрастилась к Достоевскому. Читала беспорядочно, и помогали мне кое-как разобраться только два человека: дядя с материнской стороны,

живший у нас некоторое время (вскоре он уехал и умер от горловой чахотки), и учитель последнего года в Москве, Николай Петрович (фамилии не помню), которому я до сих пор благодарна. Он приносил мне новые книжки журналов, сам читал мне классиков, задавал серьезные сочинения. Помнится, что он писал тогда в «Русских Ведомостях».

Переехали мы из Ялты в Тифлис отчасти потому, что там жил второй брат моей матери с семьей, известный тифлисский присяжный поверенный, редактор им же созданного «Нового Обозрения». Меня, хотя я и поправилась, мать еще боялась везти на север, и сестры были слабого здоровья.

В гимназию поступать оказалось поздно (мне было 16 лет), я бы и не выдержала экзамена в последний класс — слишком бессистемны были мои знания. Умела заниматься тем, что нравилось, а к другому до странности была тупа.

Книги — и бесконечные собственные, почти всегда тайные, писания — только это одно меня, главным образом, занимало. Пристрастилась одно время к музыке (мать моя была недурная музыкантша), но потом бросила, чувствуя, что «настоящего» тут не достигну. Характер у меня был живой, немного резкий, но общительный, и отнюдь не чуждалась я «веселья» провинциальной барышни. Но больше всего любила лошадей, верховую езду; ездила далеко в горы.

Летом умер мой дядя. Следующее лето, 1888 года, мы проводили в Боржоме (дачное место около Тифлиса), и там я познакомилась с Д. С. Мережковским.

Меня в то время тифлисская молодежь звала «поэтессой». Молодежь неуниверситетского города – это или выпускные гимназисты, или офицеры. Но офицеры у нас не бывали, они мне казались более грубыми и тупыми, нежели гимназисты, с которыми мы вместе увлекались едва умершим Надсоном, многие из них, как и я, тоже писали стихи. К тому же это были все товарищи моего двоюродного брата, с которым я очень дружила.

Д. С. Мережковский в то время только что издал первую книжку своих стихотворений. Они мне не нравились, как ему не нравились мои, не напечатанные, но заученные наизусть некоторыми из моих друзей. Как я ни увлекалась Надсоном, – писать «под Надсона» не умела и сама стихи свои не очень любила. Да они, действительно, были довольно слабы и дики.

На почве литературы мы много спорили и даже ссорились с Мережковским.

Он уехал в Петербург в сентябре. В ноябре, когда мне исполнилось 19 лет, вернулся в Тифлис; через два месяца, 8 января 1889 года, мы обвенчались и уехали в Петербург.

Дальнейшая жизнь моя в Петербурге, литературная деятельность, литературные круги, мои встречи и отношения с писателями за двадцать с лишком лет – все это могло бы послужить темой для мемуаров и мало годится для автобиографической заметки.

За все протекшие годы мы с Мережковским никогда не

расставались. По совести должна сказать, что никогда не отрицала я влияния Мережковского на меня уже потому, что сознательно шла этому влиянию навстречу, – но совершенно так же, как он шел навстречу моему. Из этой встречности нередко рождалось новое, мысль или понимание, которые уже не принадлежали ни ему, ни мне, может быть, – «нам».

Так же, впрочем, шла я, шли мы, насколько умели, навстречу «влиянию» нашего друга Д. В. Философова и всех близких, о помощи которых я вспоминаю с большой любовью.

О себе лично писать и говорить почти нельзя. А судить себя, оценить себя в литературном или каком-либо ином отношении – нельзя совсем. Это дело других. Скажу только, что сама я придаю значение очень немногим из моих слов, писаний, дел и мыслей. Есть три-четыре строчки стихов: «...хочу того, чего нет на свете...»; «...в туманные дни – слабого брата утешь, пожалей, обмани...»; «Надо всякую чашу пить до дна...»; «Кем не владеет Бог – владеет Рок...»; «...это он не дал мне – быть...» (о женщине). Если есть другие – не помню. Эти помню.

Вспоминаю еще жизненно-удачную мысль мою о нужности Религиозно-философских собраний, – наш журнал «Новый Путь»; вспоминаю мои слова «нельзя и надо» (смутная, но краткая и для меня ясная формула) по вопросу «насилия». Важна еще была мне мысль «о власти единого над многими», о самом принципе единовластия, вечном, общем,

антирелигиозном принципе человека-героя, человека-хозяина...

Центр же, сущность коренного мирозерцания, к которому привел меня последовательный путь, – невыразима «только в словах». Схематически, отчасти символически, сущность эта представляется в виде всеобъемлющего мирового Треугольника, в виде постоянного соприсутствия трех Начал, неразделимых и неслиянных, всегда трех – и всегда составляющих Одно.

Воплощение этого мирозерцания в словах и, главное, в жизни – необходимо, и оно будет. Не под силу нам – сделают другие. Это все равно, – лишь бы было.

В дни распада

Я? Не я?

(из одноименной статьи)

В кухне у меня живет небольшая, плотная и уже не первой молодости собачонка – Гринька. Я часто с любопытством наблюдаю Гриньку. В нем до крайности развито чувство индивидуализма. Ко всему, что не его «я», – он относится или со злобой, или с презрением, или с глубоким равнодушием – смотря по обстоятельствам. Так, к людям, когда они не дают ему возможности для проявления его «я», – с равнодушием, к кошкам, когда они не садятся на его постель, – с презрением, к собакам, когда они проходят мимо, – со злобой.

Вид каждой собаки приводит Гриньку в исступление. Я думаю – потому, что в собаке он ярче ощущает подобное ему «я» – и не может примириться, что оно существует. Если бы Гринька умел анализировать свои чувства, он бы думал: «Как? Не я, а такой же? Зачем же он, когда уже есть я? Пожалуй, он тоже любит телячью грудинку? И ему дают, и он съедает, и я эту самую уж никогда не съем, потому что он, совершенно ненужный, ее съест?!»

Негодование, накапливающее в эту минуту в Гринькиной ду-

ше, вероятно, искренно и величественно. Одна общая любовь – к телячьей грудинке – не только не связывает Гриньку с проходящей собакой, а напротив, обостряя ощущение «единого я», воспламеняет до кровомщения. В своем праведном негодовании Гринька бросается на незнакомую собаку, виноватую в том, что она существует, и... поражает ее или терпит поражение, смотря по тому, меньше его она ростом или больше.

Не все собаки подобны Гриньке: он – яркий индивидуалист. Яркость характера – довольно редкий случай и среди животных. Но кто знает? Может быть, он первый из грядущего «нового поколения» собак, и впоследствии принцип индивидуализма сделается у них господствующим, проявится еще ярче, и... на каждой улице можно будет держать только по одной собаке.

Если оно так пойдет – то пойдет очень скоро: ведь Гриньки, на правах животных, – просты, не лицемерят, принципов своих не осложняют и не замазывают: как чувствуют – так и поступают, в открытую.

Кроме того Гринька идет в индивидуализме до самого последнего конца: ему совершенно и ни на что не нужна проходящая собака. Будь он посложнее и послабее, – он, может быть, захотел бы, чтобы эта собака полюбовалась, голодная, как он, Гринька, ест грудинку; или удивилась бы его силе и преклонилась перед ним; или... мало ли что! Но Гриньке-индивидуалисту этого не нужно, его счастье не зависит от та-

ких вещей. Боюсь, что это нужно – людям-индивидуалистам.

* * *

Вполне ли подходящее, однако, слово «индивидуалисты» – к нашим современникам? Пожалуй, и для Гриньки оно слишком пышно, слишком... благородно; но другого я не знаю. Оставим же кличку. Разберемся в том, что под ее прикрытием делается: в том, что фактически есть – вместо долженствующего быть.

Я думаю, что главное отличие настоящего индивидуалиста от Гриньки и от Гринек-людей с их человеческими осложнениями заключается в следующем: у первого есть сознание своего «я» и, как неизбежное следствие этого, – сознание и «не я»; или, иначе, сознание и других «я», подобных, равноценных, – при условии передвижения единой точки, – и уже равноценностью, множественностью связанных неразрывно. Такое сознание (понимание) – есть уже принятие каждого «я» вместе со своим собственным, и притом так, как они есть, то есть неслиянными и нераздельными.

У современных же «индивидуалистов» с основами Гриньки – никакого сознания «я» нет, есть лишь его ощущение, немного более обостренное, чем оно было всегда у людей, правда; но действительно ли это – движение вперед? У Гриньки, быть может, собачий прогресс, но возможно, что это и регресс: не расширение, а сужение круга; ведь благо-

даря тому, что все «не я» (или все «я», кроме одного) не со-
знаны, – они выключены из круга, и круг сузился в точку.
Почти страшно!

Хорошо, что времена переходчивы, что нет стройных
исторических законов, что при большинстве существует и
меньшинство, что, наконец, это большинство современных,
бессознательных, наивных «индивидуалистов» – состоит из
вялых, слабых, бездарных и безвольных маленьких человек-
ков, которым ничто не удастся.

Хорошо еще, что есть старые люди, которые, не занимаясь
модным анализом, твердо, издавна знают, что высказанная
мысль судится сама по себе, а не по тому, кто ее высказы-
вает, и остается верной (если верна), даже если бы и не «я»,
«первый», ее высказал.

Впрочем, бывает, что современные «индивидуалисты»,
при всем их внутреннем одиночестве, прикрываются и не
одинаковыми, а разными идеями, одни – консервативными,
другие – либеральными. Это личное дело каждого и стоит в
зависимости от случая, от среды, от способностей...

В каждом из двух оппозиционных «лагерей» есть своя
возможность для «индивидуалиста» послужить собственно-
му «я». Кроме того, их занимает вечная перебранка, перела-
ивание; каждый втайне грезит: «Я буду победителем!» Ко-
нечно, если бы завтра эти псевдолибералы стали называть
себя консерваторами – тотчас же «консерваторы» перешли
бы в «либерализм» (не все ли им равно?) – и перелаивание

благополучно продолжалось бы.

Впрочем, возможно, что «консерваторы» бы и не перешли. Но это отнюдь не из верности идеям, которых у них нет и не может быть, а по той причине, что человек, – современный «индивидуалист» в особенности, – очень зависит от обстоятельств.

* * *

Употребляя поневоле общепринятые слова: «консерватор», «либерал», – я говорю не о людях с теми или другими убеждениями, – а о людях без всяких убеждений, о тех же «индивидуалистах», солидарных между собою глубоко, какими бы различными идеями они не прикрывались.

Солидарность эту они остерегаются обнажить. Но порою злоба, похожая на злобу моей собачонки Гриньки, застилает им глаза, они забывают осторожность и проваливаются.

Не все ли, в сущности, равно им, свобода или несвобода? Не мы, не «я» – ну и прочь!..

Мы и они

(из одноименной статьи)

«Мы» – это те люди, которые прошли, или почти прошли, долгий и тяжкий путь уединенности, отъединенности от всех, крайнего индивидуализма; спускались в «подполье», в самые темные коридоры, – и без всякого расчета, потому что без надежды из него выбраться; многие там и остались, задохнулись; другие же – вдруг увидели, что на конце коридора забрезжила белая точка. И белая точка эта – выход из подполья, именно туда, куда они всю жизнь рвались, – выход «на другую сторону» мира.

Мы поняли, каждый из нас, что наши искания, наши муки, и выход, который забрезжил – нужны не одной какой-нибудь кучке людей, не одному какому-нибудь Ивану или Петру, – а решительно всем людям, и все решительно люди, в той или другой мере, иногда незаметно, иногда сами не подзревая, так же, как мы, тем же мучатся, тут же, бродят, того же ищут.

Когда мы были еще в нашей уединенности, в черном и безнадежном подполье – если и писал кто-нибудь что, говорил, – то заведомо в пустоту, для себя одного, как больной человек стонет один в своей комнате. Тогда казалось, что это твое личное, случайное, исключительное, бессмысленное несчастье, исключительное до гордости и до само-

упоения; никого, как ты, нет, никому крики твои не нужны, и пусть, и хорошо, что не нужны. И мы тогда писали и говорили, — хорошо ли, дурно ли, — но без надежды и, главное, без желания быть услышанными.

Но только что затеплилась тонкая светлая черточка в подполье, и только что сверкнула первая искра несомненного, чувственного знания, что ни каждый из нас не один, ни мы даже, несколько определенных людей, не одни, — не одни ищем, не одни падаем, не одни идем, не для нас одних и выход — только что поняли мы это, как все изменилось. Для каждого стало ясно, что он оттого только и пошел и должен был идти в эту черную муку и темноту, и смог увидеть дальний выход, что все идут туда же, и тоже могут увидеть выход.

В этот момент первого, яркого понимания, очень еще отвлеченного, каждый, под словом «мы», подразумевал «мы все». И явилась новая, не прежняя, потребность говорить, писать, кричать. Нельзя, невозможно не стараться раскрыть свой опыт и свое сознание другим, с тем чтобы они им воспользовались, когда будут, — непременно! — проходить по тем же дорогам. Много ли сил, много ли голоса — никто об этом не думал. Сколько хватить. Говорить и говорить о своем, — потому что тут «свое» — свое для каждого из всех.

Но мы слишком мучились в подполье, увидев точку выхода и поняв, что путь исканий — общий, — мы в первую минуту еще не рассчитывали, не учитывали факта, что как ни неоспорима истина одного пути для всех и одного выхода,

однако же, не все одинаковы в смысле своего положения на этом пути. Одни далеко, другие близко, а те еще и не начинали его. И мы конкретно, во времени, не совсем одно и то же, что люди, ищущие и даже не знающие, что ищут.

* * *

Уже невольно разделив всех на «мы» и «они» — мы стали думать, какие же «они» ближе к нам? Писатели? Или нет, может быть, русские революционеры? Или социалисты? Или, не дай Бог, священники? Или простой народ из сектантов? И почему непременно русские. Может быть, французские анархисты? Кто ближе, кто дальше? Кому, о чем и как говорить?

Задавая себе вопрос, к кому нам обращаться, кому скорее мы поможем и кто нас услышит и нас поддержит, — мы отвечали правильно: человек последнего отчаяния. Но это нам казалось слишком отвлеченно, потому что в самом деле, куда же идти или ехать его искать?

Ведь этот человек, кроме того, что он человек «последнего отчаяния» — он еще непременно или русский, или не русский, или социалист, или писатель, или буржуа, или рабочий, или вообще что-нибудь.

Отсюда и пошел наш срыв, тут и начали мы невольно вглядываться во внешнее положение людей, искать через внешнее внутреннее, делить людей чуть не на классы. А рядом с

более грубым – шло и менее грубое деление: с людьми «последнего» отчаяния – так надо говорить, не последнего – иначе, идущими к отчаянию – еще иначе...

И началось «приспособление», – самое неудачное, потому что ничего мы не знали, в сущности, о людях, которых произвольно делили, и не могли знать; началась глупая педагогика, в увлечении которою мы отстранили «свое», каким оно для нас было, единственное, что мы имели твердо; потеряли себя, и уж, конечно, не нашли поэтому никого.

Я пишу все это сейчас только для себя и для «нас», запутавшихся тут, как я, а поэтому и не делаю миллиона весьма важных оговорок. Многое должно разуместься само собою. Например, то, что мы, конечно, не претендуем на несомненное открытие нами общей и последней истины. Нам только кажется, что забрезжившая вдали точка – истина; так же, как и во все времена были люди, которым это искренно казалось. Одни ошибались, другие – нет.

Ошибаемся ли мы, или нет, – мы не можем судить, Раз нам искренне кажется, что нет; и этого последнего довольно, чтобы не только иметь право говорить о нашем «знании», но чтобы не иметь права и возможности не говорить о нем.

* * *

Лев Толстой учительствовал. Он исходил из того положения, что, во-первых, так жить, как люди живут, не хорошо,

не добро, а во-вторых, — что он сам для себя, для всех своих внутренних сомнений нашел выход и выйдет им и уже вышел. И для него, для Льва Толстого, хотя и имеет значение, чтобы другие сделали, как он, так как жалко людей, что они не в добре, — однако, значение не существенное.

Если и ни для одного человека в мире выход Льва Толстого не окажется годным, ни один не пойдет, — все равно Лев Толстой сам пойдет, и выйдет, и спасется.

Таково было его положение, и отсюда он мог, не противореча себе учить, убеждать, доказывать. Показать же он ничего не мог, потому что, выйдя на свет своим одиноким выходом, «сам-один», — он вышел из общего поля зрения.

До такой степени, что нам кажется даже, что он вовсе никуда не вышел, а живет совершенно как прежде и совершенно как мы и даже пользуется благами жизни как редкие: не у всех есть самоотверженная, заботливая жена, любящие дети, прекрасное имение, по вкусу пища, — уже не говоря о славе и поклонении, которые его окружают.

Для себя он, может быть, и не так живет, и чувствует себя «на той стороне мира» — но никто этого не видит абсолютно, и потому это как бы и не существует. Толстой, по выражению Достоевского, «точно ножницами себя от всех отрезал», и нам уже тут нет с ним сообщения, как у него с нами, с миром.



1. Зинаида Николаевна Гиппиус родилась 8 (20) ноября 1869 года в городе Белёве (ныне Тульская область) в обрусевшей немецкой дворянской семье.

Как отмечал один из биографов поэтессы, «... время, в котором она родилась и выросла – семидесятые-восемидесятые годы, не наложило на неё никакого отпечатка. Она с начала своих дней живёт как бы вне времени и пространства, занятая чуть ли ни с пелёнок решением вечных вопросов»

Нам же, увидевшим в жизни смысл не тот, какой увидал Толстой, ни одному из этих «нас», нельзя спастись от отчаяния жизни, если это спасение не для всех. Не для всех, конечно, но всех тех, кто увидит ясно, подойдет и поймет. Если из них кто-нибудь не захочет или, главное, не сможет выйти этим выходом, – то и никто не сможет. И я не могу. Потому что я не выше и не сильнее и не более вижу, чем каждый, рядом стоящий. Коридоры безнадежности есть и узкие, для одного, а выход – для всех, сюда подошедших, – совместный.

Желание, чтобы сразу оказались у нас целые косяки ближних, – все анархисты, или все социалисты, или хоть все «декаденты» – конечно, естественное желание; но от него идет и ошибка «проповеди», приспособленных слов, обращенных к той или другой толпе. А из проповеди, когда она не удастся, вытекает опасное разочарование: да ведь мир отлично стоит, никто не заботится ни о каком смысле жизни и никому никакого выхода не нужно, потому что и подполья-то, может, никакого нет!

Если же есть выродки единичные, как Достоевский, Толстой и еще кое-кто, сами себе создающие подполье и в него

одиноким залезающие, то это уж их дело, каждого, и выход они себе, личный, найдут или не найдут, сочинять или не сочинять, — опять-таки дело каждого. А жизнь есть жизнь, и не нуждается она ни в каком смысле, общем, одном. Частных же смыслов, смыслов существования — сколько угодно, они ищутся и находятся непрерывно: у анархистов свой, у русских сектантов свой, у парижских кокоток опять свой, у людей науки свой, — ну и все идет чередом, ни шатко ни валко. Остальное же — болезненные фантазии, не имеющие значения.

* * *

Вот до каких мыслей и ощущений может довести проповедь того, что нельзя проповедовать, нельзя доказывать, чему нельзя учить. До абсурда, до отрицания фактов, даже факта человеческой природы. Ибо если (не постыдимся детских примитивностей) человек есть мыслящая тварь — то каким образом мы тут же допустим, что эта мыслящая тварь не нуждается в смысле? Или это лишь игра слов? Ну, тогда нечего и употреблять слова, которыми можно так страшно играть.

Период уклона в проповедничество в той или иной среде, и приспособление «своего» к этой среде — несомненно, должен пройти, когда каждый из нас поймет, что он не имеет никакого преимущества ни перед кем: ибо если он сейчас

знает больше, то и спросится с него больше, и если знает и не кричит, и не услышат ближайшие и не подойдут, чтобы выйти вместе – то он так же задохнется, как незнающие. Он должен думать о каждом ровно столько же, сколько о себе, ни больше, ни меньше. И о себе, сколько о нем. Говорить «свое» всем, как самому себе, не предполагая его ни выше, ни ниже себя. Раз это нужно сейчас лишь для тех, кто действительно как я, – то можно ли иначе? Кому сейчас не нужно, кто еще слишком далек – тот и не примет твоего, под какими сладкими соусами его ни подавай.

Старая истина: относись к другому так, как к самому себе. Еще бы не старая: старее вечного ничего нет. Но конечно, делать это нужно без всякой наивности и отвлеченности. То есть если я, утвердив, что все по существу то же, что я, и для каждого тот же единый выход «на ту сторону» как и для меня, – если я вместе с тем предположу, что все до последнего, в одну и ту же данную минуту истории, на одной со мною точке пути, а потому едва я крикну – должны все ринуться вместе к выходу и выйти, – это, конечно, будет наивная отвлеченность, а кроме того, абсурд по отношению к истине.

Тогда мне и кричать было бы не нужно, все бы вместе в один момент пошли бы и вышли; спаслось бы «человечество»; да, но ни один «человек» бы не спасся. А ведь «все» лишь тогда ценность, когда они тоже и «каждый», отдельный, особенный и равный другому.

Верность мысли для нас подтверждается опытом. И мы

видим, что происходит. Нашими поучениями не поучается никто. Нашими убеждениями не убеждается никто. Но каждый раз, как мы говорим свое, заботясь лишь сказать его, как самим себе – откликается один, другой, третий, из таких, по нашим внешним соображениям, дальних, что, не откликнись он, – никогда и не узнали бы мы, что он – ближний.

Да, скажут мне, «пока солнце взойдет, роса очи выест». Что это, один, другой, третий? Истина пожинает народы, как поля. Прежний взгляд был лучше: пророк ведет толпу, пастух пасет стадо. Что же, однако, делать тем, кто не стадо и не пастух? Куда же их девать? А их все больше и больше, они-то и идут бесстрашно в одинокое подполье, они-то и куют там в огне и железе свое «я», которое не растает бесследно во всех, когда они скажут: «мы». И ведь все равно в конце концов пророк всегда уходит от толпы, пастух – от стада, как Толстой ушел от своих учеников; и остаются ученики одни, и учитель один. Он со своим учением, они – с его исковерканным образом.

Нет, уж, должно быть, и эта старая, особенно как-то забытая истина – тоже вечная истина: не называйте учителем никого и не называйтесь учителями. Хорошо, что она не нами измышлена, – хорошо, что она была забыта: мы теперь встречаем ее с готовой душой; она – новая для нас и она – вечная. Мы ее заслужили – и она нам открывается.

Может быть, и вся эта заметка звучит немного как «поучение». Но это поучение самим себе, а потому не опасно. Хочется, так хочется, так внутренне надо смотреть на мир широко открытыми, доверчивыми глазами, без страха за него, — и без страха за себя. И кажется, что это не только нужно, но и возможно.

Прав Достоевский: страшна только свободная воля человека, свобода выбора, несомненно нам всем данная и всеми ощущаемая, какими бы мы рассуждениями не старались ее уничтожить. Ведь это мы делаем исключительно от страха. Но необходимо преодолеть страх, принять или не принять свободу раз навсегда (и тоже свободно), потому что, не сделав тут выбора — я не могу ни быть, ни не быть.

Наше мессианство

(из статьи «Какой социализм? Какая религия?»)

Мы, русские, обладаем неким печальным свойством, благодаря которому в каждом чувстве доходим до болезни. Для чувств патриотических (а мы теперь все патриоты) есть специальная болезнь: идея мессианства.

Под «мессианством» я не разумею, конечно, самоощущение и самосознание всякой нации, как имеющей свой единственный лик, свое место, свою задачу; и даже свой исторический момент, когда именно она выступает вперед, во исполнение своего посланничества, своей миссии. Но этот «миссионизм» очень далек от «мессианизма», особенно русского. Несчастливая, — воистину несчастная! — склонность ко всему безмерному сделала то, что и патриотизм наш заражен «мессианством».

Идея, в скрытом виде, жила всегда. А теперь уже проявляется, как болезнь, у людей самых различных «толков». И даже формы проявления часто сходятся: болезнь-то одна.

Мессианство — это волевое, чувственное или вообразительное утверждение исключительности и особого, исключительно высокого, призвания своей нации, своей страны. Национальные свойства и черты, даже те, которые явно под-

лежат преодолению, все принимаются и благословляются. Созданное этой нацией, всегда значительнее, выше создаваемого другими.

Таковы «наша» церковь, государство «нашей» страны. Даже самые несомненные исторические ее падения истолковываются как необходимость для следующего за ним безмерного взлета.

Пока мы, – левые, правые, атеисты, христиане, – не преодолеем мессианства, мы и патриотами настоящими не будем, и ни одного, действительно важного, вопроса даже правильно поставить не сумеем.

В дни распада *(из статьи «Добрый хаос»)*

«В наши дни общего разложения и распада...» Только эти слова и читаешь во всех газетах, журналах, сборниках. Только и слышишь поющие и брющащие голоса всякого сорта интеллигенции. Обывателя мы меньше слышим, но, конечно, и он поет.

Конечно, не в одной литературе, а везде, по мнению недовольных, — «тьма». Большинство откровенно ноющих «писателей» довольствуются тем, что разрисовывают эту «тьму» длинно, усердно, — и на том кончают. Читателю остается или не внять, *passer outre* {пройти мимо (фр.)}, или поникнуть в отчаянии и замереть...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.